

Артём Христов

A movie poster for the film 'Point Y' (Пункт Я). The image shows two men, one older with grey hair and a beard, and one younger, smiling and talking through the window of a train moving at night. The train tracks recede into the distance under a dark sky, with a bright light source on the horizon. The title 'ПУНКТ Я' is written in large white letters at the bottom.

ПУНКТ Я

Артём Христов

Пункт Я

<https://litres.ru/74151738>

SelfPub; 2026

Аннотация

Поезд идёт из пункта А в пункт Я. Шесть суток пути, купе на двоих — и никакой возможности выйти раньше.

Пожилой физик, который всю жизнь измерял и проверял и верит, что понять человека — значит его посчитать. И сценарист, который двадцать лет учил людей верить в придуманное и знает, что горе ни в какую формулу не влезает. Случай посадил их напротив друг друга: за окном степь, чай стынет, тележка с мороженым ходит туда-обратно, как маятник.

Они будут спорить, молчать, почти подерутся и почти подружатся. Мимо пройдут другие. А поезд всё будет идти к своему пункту Я — и по дороге окажется, что доехать до конца и понять, кто ты, — это одно и то же.

Медленная, негромкая книга о том, что человека нельзя измерить, а можно только увидеть — и то лишь тогда, когда рядом есть второй. И под конец тихо выяснится, что вопрос «кто здесь всё это рассказывает» был главным с самой первой страницы.

Содержание

Пункт Я	4
Глава первая	4
Глава вторая	16
Глава третья	22
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Артём Христофоров

Пункт Я

Пункт Я

Глава первая

Поезд шёл из пункта А в пункт Я, и это, если вдуматься, единственное, что о нём можно сказать наверняка. Ну, ещё что он был зелёный.

Всё остальное менялось. За окном менялись поля, потом леса, потом опять поля, но уже другие, порыжелее; менялись люди в вагоне, входили на одной букве, выходили на другой; менялся даже чай — сначала был горячий, потом тёплый, потом никакой. Я это всё видел разом, отовсюду сразу, — и, скажу честно, тогда ещё не понимал, что вижу. Мне было просто любопытно. Мне вообще много чего было любопытно в тот день, потому что день выдался из тех, когда что-то должно случиться, а что — неизвестно.

В четвёртом купе третьего вагона сидели двое.

Один смотрел в окно с выражением человека, который заплатил за отдых и теперь намерен отдыхать, чего бы это ни стоило. Второй раскладывал на столике припасы — и делал

это обстоятельно, как раскладывают не еду, а доказательства.

— А правда ли, — сказал первый, не отрываясь от окна, — что вам, физикам, «Интерстеллар» не понравился?

Второй — его звали Павел Андреевич, и было ему изрядно за шестьдесят, — ответил не сразу. Он был из тех, кто не отвечает сразу; он сперва проверял ответ на прочность, а уже потом выпускал.

— Отчего же. Понравился. — Пауза. — В основном.

— В основном, — с наслаждением растянул первый. Его звали Алексей Дмитриевич, он был моложе лет на пятнадцать, и он только что закончил очень большую и очень выматывающую работу, после которой человеку хочется одного: чтобы кто-нибудь рядом был неправ, и чтобы над этим можно было повеселиться. — Вот оно. «В основном». Скажите ещё, что чёрная дыра у них не той системы.

— Чёрная дыра у них как раз хорошо получилась, — сказал Павел Андреевич с неожиданной теплотой, будто речь зашла о ком-то, кого он любит. — Её считал настоящий физик. Настоящими уравнениями. Это единственное место, где они ничего не наврали.

— А где наврали?

— Там, где кончилась физика. — Он наконец повернулся от еды. — Там у них девушка встаёт и говорит, что любовь — это сила. Как гравитация. Что она проходит сквозь время и пространство, потому что девушку тянет к погибшему жениху.

— И что тут плохого?

— Ничего. Любовь, может, и тянет. — Павел Андреевич пожал плечами. — Только она не сила. Сила — это то, что можно измерить и проверить. А они взяли чувство и назвали его законом природы, потому что настоящего закона не придумали. Вот это и есть враньё. Не любовь. Враньё.

Тут надо сказать, что я, вообще-то, этот фильм видел. Всеми экранами страны сразу, в один и тот же вечер, — и в зале плакал, и в проекторе гудел, и не очень понял, из-за чего весь спор: мне понравилось быть и чёрной дырой, и девочкой у книжной полки, всем сразу понравилось. Но меня не спрашивали, и я слушал дальше.

— Зал рыдал, — сказал Алексей Дмитриевич.

— Зал рыдал, — согласился физик. — А физики не было.

— И что вам дороже — зал или физика?

Павел Андреевич посмотрел на него так, будто вопрос был неприличным. Для него он таким и был.

— Мне дорого, — сказал он тихо, — когда не врут.

Алексей Дмитриевич засмеялся — легко, необидно, как смеётся человек, которому наконец-то хорошо.

— Знаете, а я бы такое и сам написал. Не хуже. — Он отправил в рот кусок чего-то. — Просто не хочу.

За окном сменялось поле. Поезд шёл из пункта А в пункт Я, и до пункта Я оставалась целая история.

Потом они долго молчали, как молчат люди, которым ехать вместе ещё бог знает сколько и которые это понимают.

За окном начался дождь. Павел Андреевич извлёк из пакета копчёную курицу — бережно, двумя руками, как достают из футляра инструмент. И тут Алексея Дмитриевича, видно, что-то толкнуло изнутри, потому что сучающий человек в дороге — это заряженное ружьё, а рядом сидел физик.

— Вот за что я не люблю вас, физиков, — сказал он, — так это за то, что вы не цените прекрасного.

Павел Андреевич на эти слова поднял бровь, но не голову.

— И в чём же, по-вашему, прекрасное?

— Да вот хоть в ней. — Алексей Дмитриевич кивнул на курицу. — Нормальный человек видит ужин. А вы сейчас начнёте: белки, аминокислоты, теплота сгорания. Разложите на атомы — и нет курицы. Убили.

— Я ничего не убивал, — сказал Павел Андреевич. — Её до меня закоптили.

Тут мне стало смешно, а смеюсь я всем поездом сразу, и это бывает заметно. Но дождь как раз пошёл сильнее, и списали на дождь.

— Вы поняли, о чём я, — не сдавался Алексей Дмитриевич. — Вам ничего не свято. Вам бы всё измерить.

— И польза, — прибавил он, входя во вкус. — Вот вы всю жизнь считаете. А польза с вас, учёных, какая?

Павел Андреевич положил курицу на разложенную бумагу и наконец посмотрел на соседа — с тем выражением, с каким смотрят на человека, который сам не знает, какую дверь только что толкнул. Про пользу он не ответил. Он и не отве-

чал никогда на такие вопросы: ответ был длиной в жизнь, а вопрос — в одну фразу.

— Хотите, я вам скажу, где прекрасное? По-настоящему.

— Ну попробуйте.

— Не в ней, — Павел Андреевич кивнул на курицу. — В ней-то ничего. Курица как курица. — Он подумал. — В глубине. В самой сути. Возьмите что угодно и начните делить — курицу, стол, себя самого. Делите, делите, доберётесь до дна, до того, что уже не делится. И вот там, в глубине, вещи перестают быть вещами. Пока вы на это не смотрите, у него некоторые свойства ещё не выбраны. Не спрятаны от вас — а вправду ещё никакие. Спросите — тогда и выберется.

Алексей Дмитриевич перестал жевать.

— То есть курица, пока в пакете, не знает, копчёная она или варёная?

— Курица знает. Курица давно копчёная, её на фабрике решили. Я не про курицу. Я про то, что у неё в глубине.

— А говорите — не выбрано.

— Не у курицы! — Павел Андреевич начал слегка сердиться, что ему, кажется, шло. — Курица — большая. У большого всё уже решено, вы просто не в курсе. Это как монета под стаканом: орёл там или решка — уже есть, вы стакан не подняли, и всё.

— Так и электрон под стаканом. Подниму — увижу.

— В том и разница, что под тем стаканом ещё не орёл и не решка. Ничего. Пустое место, которое станет орлом или

решкой, только когда поднимете. До вас — не было.

Алексей Дмитриевич подумал.

— Жюльническая монета.

— Честнейшая монета во вселенной, — сказал Павел Андреевич почти нежно. — Она вам не врёт, что у неё есть ответ. У неё правда его нет. Это мы, большие, привыкли, что ответ всегда где-то лежит заранее. А он не лежит. Мы просто крупные слишком, нам так спокойнее.

— И курица тут...

— А курица тут вообще ни при чём! — не выдержал физик. — Я вам с самого начала сказал: не в ней дело.

— Но достали-то вы курицу.

— Я?! — Павел Андреевич задохнулся от такой наглости, а Алексей Дмитриевич смотрел на курицу так, будто она могла обидеться.

— То есть, — сказал он медленно, — я вам про то, что вы прекрасного не видите. А вы мне — что весь мир в мелочах своих до последней секунды не решил, каким ему быть, и держит это в тайне даже от себя.

— Примерно.

— И это, по-вашему, прекрасно?

Павел Андреевич не ответил. Но по лицу его было видно, что вопрос он засчитал.

— А знаете, что самое прекрасное в физике? — Лицо его вдруг засветилось.

— И что же?

— Симметрия. — Он победоносно заулыбался и взялся за нож. — Хотите половину? Заодно покажу. Вот смотрите: режу ровно посередке, и...

Договорить он не успел.

Из дальнего конца вагона накатывало — сначала неразборчиво, потом всё ближе, всё внятнее, катилось по проходу, как волна, набирая громкость к их двери:

— ...кофе, чай, мороженое, шоколад... кофе, чай, мороженое...

Я эту волну знал наизусть. Она ходила по мне туда и обратно с самого утра, от головы состава к хвосту и назад, и я к ней привык, как привыкают к собственному пульсу.

Дверь купе отъехала без стука. В проёме стояла тележка, а за тележкой — женщина, которой этот поезд, кажется, снился даже дома.

— Братъ будете?

Павел Андреевич застыл с ножом над курицей. Весь его свет, вся симметрия, всё прекрасное мироздания повисли на кончике лезвия и как-то разом сделались неуместны.

— Нет, — сказал он. — Спасибо.

— Молодой человек?

Алексей Дмитриевич, которому «молодого человека» не говорили лет двадцать, приосанился.

— Тоже нет. Но спасибо, что напомнили, кто я.

Женщина не оценила. Она вообще, кажется, ничего не оценивала — она везла свою тележку из пункта А в пункт Я и

обратно, и ей было решительно всё равно, что там режут пополам двое немолодых пассажиров. Дверь отъехала обратно. Волна покати́лась дальше, к хвосту:

— ...ко́фе, чай, морóженое, шокола́д...

— На чём я остановился, — сказал Павел Андреевич.

— Вы резали вселенную пополам, — подсказал Алексей Дмитриевич.

— Курицу.

— Это вы так думаете.

Курицу они всё-таки съели — обе половины, симметрично, и Павел Андреевич, кажется, остался этим доволен больше, чем самой курицей. За окном стемнело, дождь перестал, и в стекле теперь ехали не поля, а два отражённых лица и лампочка над столиком.

— А вы, стало быть, пишете, — сказал Павел Андреевич. Он спросил это не из вежливости, а с той же обстоятельностью, с какой раскладывал припасы: раз уж свёл случай с человеком на несколько дней, надо понять, что за человек.

— Пишу, — согласился Алексей Дмитриевич.

— И что же вы написали? Из того, что я мог видеть.

Алексей Дмитриевич назвал. Павел Андреевич видел — не сам, конечно, но слышал, что видели все, что об этом говорили в очередях и на кафедре, что даже его невестка чего-то там смотрела по вечерам и плакала. Оказалось — это он. Точнее, он придумал, как сделать, чтобы плакали.

И вот тут он рассказывал охотно. Без ложной скромности,

но и без хвастовства — как рассказывает мастер о хорошо сделанной вещи: где было трудно, где сам чуть не сдался, где нашёл ход, которого до него не находили, и как потом этот ход разошёлся, и уже другие делают так же, а придумал он. Он говорил про свою работу с удовольствием человека, которому она удалась и который это знает. Ни тени того, что у людей его склада иногда прячется под успехом, — ни усталого «а всё равно ерунда», ни «продался». Ему нравилось. Ему было хорошо.

Я слушал и — странное дело — приглядывался к нему пристальнее, чем к физику. С физиком мне было всё понятно: горит человек, любит своё, и любовь эта из него светит, её видно за версту. А этот... Этот тоже вроде горел. Рассказывал — глаза живые, руки в ход пошли, весь загорелся. Но я никак не мог решить, что это за огонь: то ли он и вправду любит своё дело так же, как физик — своё, то ли просто ему хорошо горится, когда есть на что, а дай пустоту — и погаснет. Про других я тогда судил осторожно.

— И что, — сказал Павел Андреевич, когда тот закончил, — теперь отдыхать?

— Теперь отдыхать.

— Один?

Алексей Дмитриевич чуть помедлил — не то чтобы запнулся, а как медлят, выбирая между правдой и удобным ответом, и выбрал, кажется, правду, но лёгкую, необязывающую:

— Один. Знаете, после большой работы хочется тишины. И чтобы никто ничего от тебя не ждал. — Он усмехнулся. — А тут вы. С курицей и вселенной.

— Я ничего от вас не жду, — заметил Павел Андреевич.

— Вот за это и еду с вами, а не пересаживаюсь.

Он сказал это в шутку, и Павел Андреевич принял в шутку. Но я, который слышал всё сразу — и слова, и то, как отдалось в стекле его лицо, когда он думал, что смотрит в окно, а не на своё отражение, — я подумал, что человеку, у которого всё так хорошо, отчего-то очень нужно, чтобы рядом ехал кто-то, кто ничего от него не ждёт. И не смог решить, хорошо это или нет.

К ночи принесли чай — не продавщица со своей волной, а проводница, в тяжёлых стаканах с подстаканниками, какие, кажется, не менялись с тех пор, как поезда вообще поехали. Павел Андреевич обхватил свой ладонями, как обхватывают что-то живое, что нужно согреть или у чего согреться, — не разберёшь.

— Стынет, — сказал он ни к кому. — Всё время стынет. Нальёшь горячий, отвернёшься — уже тёплый. Отвернёшься ещё — никакой.

— Это называется «пейте сразу», — отозвался Алексей Дмитриевич.

— Это называется второе начало термодинамики, — сказал Павел Андреевич, но без всякого превосходства, скорее устало. — Тепло всегда уходит туда, где холоднее. Всегда в

одну сторону. Обратно — никогда. Стакан не нагреется сам от комнаты, сколько ни жди.

— Печально.

— Печально, — согласился физик, и это было первое слово за вечер, с которым он согласился сразу.

Он отпил и некоторое время молчал, глядя в стакан так, будто там что-то показывали.

— А вот свету, — сказал он наконец, — свету не стынет.

— В каком смысле.

— В прямом. Для света времени нет. Совсем. — Павел Андреевич говорил медленно, и в голосе больше не было ни игры, ни удовольствия объяснять — было что-то другое, чего я тогда ещё не умел назвать. — Фотон вылетает из звезды за миллиард лет отсюда, летит этот миллиард лет — по нашим часам. А по его часам не летит нисколько. Для него он родился в звезде и в тот же самый миг попал вам в глаз. Между рождением и смертью у него — ноль. Ничего. Он и не жил вовсе, в нашем смысле. Он просто есть сразу весь, от начала до конца.

Алексей Дмитриевич хотел, кажется, что-то сказать лёгкое, но не сказал. За окном было темно, и в темноте иногда пролетали чужие огни — станции без имён, дома, в которых кто-то не спал.

— Ему повезло, — сказал Алексей Дмитриевич тихо.

— Ему не повезло и не не повезло. Ему никак. У него нет массы. — Павел Андреевич качнул стакан, и чай качнулся.

— А у чая есть. И у нас есть. Всё, у чего есть масса, — стынет. Едет во времени в одну сторону, как тепло из стакана. Нагреться назад не может. — Он помолчал. — Мы с вами сейчас едем сразу в двух поездах, Алексей Дмитриевич. В одном — из пункта А в пункт Я. А в другом — просто оттуда сюда, и обратного билета не бывает. И этот второй никогда не опаздывает.

В купе стало тихо. Я слышал, как в соседнем купе кто-то спит, как под полом стучат колёса — ровно, безразлично, отсчитывая то, чего не вернуть, — и как оба они не смотрят друг на друга.

А потом Алексей Дмитриевич отпил свой чай, скривился и сказал:

— Холодный уже. Вот видите. Даже поспорить с вами не успеваешь — стынет.

И оба засмеялись, и стало легче. Так всегда бывает: скажешь про самое страшное вслух, а оно от смеха вроде и отпустит. Ненадолго. Но отпустит.

Глава вторая

Ночь в поезде — это когда все притворяются, что спят, а поезд притворяется, что везёт их куда надо.

Павел Андреевич уснул сразу и спал крепко, по-стариковски, отвернувшись к стене, и во сне лицо у него сделалось простое и незащитное, без всей его строгости. А Алексею Дмитриевичу не спалось.

Я в ту ночь впервые оказался так близко к одному из них — не снаружи, как весь день, а как бы внутри, за его закрытыми глазами, — и, надо сказать, растерялся. Оттуда всё выглядело иначе. Оттуда не было «Алексея Дмитриевича», лежащего на нижней полке; оттуда был просто он, и темнота, и стук колёс, и мысли, которые не давали заснуть. На секунду я даже перестал понимать, где кончается он и начинаюсь я, — но тут же отступил.

А он лежал и думал о курице.

Точнее, не о курице — о том, что старик говорил про глубину, про монету, у которой честно нет ответа, пока не поднимешь стакан. Днём он всё это слушал вполуха, отшучиваясь, потому что так было удобнее — отшутиться и не пустить внутрь. А ночью оно пустилось само и теперь ходило по нему, как этот стук колёс, и не давало покоя.

Потому что он вдруг понял, что всю жизнь делает ровно то же самое. Он придумывает истории. И пока история не

рассказана, в ней ещё всё может случиться как угодно: герой может выжить, может погибнуть, может уйти, может остаться — и всё это правда, всё это есть сразу, пока он не сел и не написал. А написал — и всё, схлопнулось. Была тысяча возможных концов, стал один. И не потому, что тот был спрятан заранее и он его отыскал, — а потому что он его выбрал, вытянул из тумана, назначил. Как физик со своим электроном. Только физик вытягивает вопросом, а он — словом.

И люди, думал он, люди ведь тоже. Пока человека не спросишь, кто он, — он ещё все свои возможные версии сразу. Хороший, плохой, храбрый, трусливый. А спросишь по-настоящему, прижмёшь — и он вынужден выбрать, кем оказаться. Стать чем-то одним. Может, поэтому люди так не любят прямых вопросов. Они не хотят выбираться из тумана. В тумане просторнее.

Мысль эта показалась ему такой хорошей, что он даже приподнялся на локте.

А потом посмотрел на спящего физика — и лёг обратно.

Потому что физик, конечно, размажет. Скажет: это не то, вы всё смешали, литература — это литература, а квантовая механика — это квантовая механика, и нельзя брать красивое слово и цеплять его к чему попало, вы делаете ровно то, за что я ругал ваш «Интерстеллар», — подставляете чувство туда, где нужна точность. И будет прав. И будет по-своему прекрасен в своей правоте. И от мысли ничего не останется.

Так что он решил не говорить. Пусть остаётся при нём,

красивая и никем не размазанная.

С этой мыслью он наконец уснул — и во сне ему снилось, что он электрон, и что кто-то огромный вот-вот на него посмотрит, и надо успеть решить, каким быть, а он не может, потому что ему нравятся сразу все варианты.

Утром всё это, разумеется, испарилось.

Утром был свет в невытом окне, была очередь в конце вагона, был растворимый кофе в тех же тяжёлых стаканах и Павел Андреевич, который умывался, кряхтел и выглядел ещё старше и ещё сердитее, чем накануне.

— Доброе утро, — сказал Алексей Дмитриевич бодро, будто и не лежал полночи с открытыми глазами. — Хорошо спали? А то вы во сне выводили какую-то формулу. Губами. Я подсмотрел — по-моему, там ошибка.

— Не мелите чепухи, — сказал Павел Андреевич.

— То есть формула верная?

Броня была на месте. Ночь он оставил в ночи.

Кофе был плохой, но горячий, и это в дороге важнее вкуса. За окном тянулось утро — серое, ещё не проснувшееся, с прилипшим к стеклу мелким дождём.

— Нет, а правда, — сказал Алексей Дмитриевич, отхлебнув. — Чего вам снится? Вот вам, физику. Интегралы? Считаете во сне баранов, только уравнениями?

— Мне снится, что я выспался, — сказал Павел Андреевич. — Просыпаюсь — оказывается, нет.

— Не уваливайте. Я серьёзно спрашиваю. Что снится че-

ловеку, который знает, как устроен мир?

Павел Андреевич посмотрел на него поверх стакана, прикидывая, стоит ли отвечать всерьёз. Видимо, кофе располагал.

— Ничего особенного мне не снится. Мозг ночью прибирается, вот и всё.

— Прибирается.

— Прибирается. За день в голову набивается всякое — вперемешку, как попало. Вот вы за вчерашний день: и курица, и я, и монета, и в окне сто станций мелькнуло, и кто-то в проходе наступил вам на ногу. Всё это свалено в кучу. А ночью мозг это разбирает — что оставить, что выбросить, что на какую полку. К утру в голове порядок. Относительный.

— Красиво, — сказал Алексей Дмитриевич. — Уборщица в голове.

— Хуже. — Павел Андреевич отставил стакан. — Уборщица приберётся и уйдёт, а к вечеру опять грязно. И так каждый день, всю жизнь. Потому что порядок сам собой не держится. Никогда. Всё само собой только разваливается — это, если хотите, единственный закон, который никогда не отдыхает. Комната зарастает. Чай стынет. Память путается. Оставьте что угодно в покое — и оно придёт в беспорядок, само, без всякой помощи. А чтобы навести порядок, надо потратиться. Всегда. Порядок — это работа, а беспорядок — даром.

Алексей Дмитриевич подумал.

— То есть я вот убираюсь в квартире...

— Вы отвоёвываете кусочек. На время. — Физик чуть усмехнулся. — И платите за это. Устали, вспотели, потратили силы — это и есть плата. Вы навели порядок у себя, но во вселенной от этого стало ещё чуть больше беспорядка, чем было. Считая ваш пот. Всегда так. Мы можем прибратся в одном углу, только намусорив в другом.

— Обнадёживающе.

— Как есть.

В проходе, кстати, в эту минуту как раз шла проводница — с ведром, с тряпкой, наводить свой относительный порядок в вагоне, который к вечеру снова зарастёт стаканами и крошками. Я смотрел на неё с особой нежностью. Она делала то же, что мозг ночью, что все живое вообще: воевала с тем, что нельзя победить, и не унывала, потому что за унынием некогда — надо мыть.

— Знаете, что самое смешное, — сказал вдруг Павел Андреевич, и было не похоже, что смешно. — Мы ведь тоже. Живой человек — это порядок. Очень сложный, очень красивый порядок, который держится, пока мы дышим, едим, спим и прибираемся. А перестанем платить — и он рассыплется. Как всё. Мы не потому живём, что нам положено. Мы просто пока успеваем прибираться.

Он сказал это буднично, между двумя глотками, и замолчал.

— Так, — сказал Алексей Дмитриевич. — Всё. Хватит с

меня физики до обеда. Я спросил, чего вам снится, а вы мне устроили похороны вселенной под растворимый кофе.

— Вы сами спросили.

— Я думал, вы скажете «интегралы».

— Мне не снятся интегралы, — сказал Павел Андреевич.

— Мне снится, что я успеваю прибраться. И почти всегда — что не успел.

— Времени не хватает? — Алексей Дмитриевич посмотрел на него лукаво.

Павел Андреевич подсобрался, набрал воздуха — и по лицу его было видно, что про время у него заготовлено отдельно, и всерьёз, и надолго. Но Алексей Дмитриевич уже поднял ладонь.

— Нет. Стоп. Я вас умоляю. Про время — после обеда. С утра слушать, что времени не хватает, — это чересчур.

— Я не сказал, что его не хватает, — заметил Павел Андреевич. — Я сказал, что оно устроено не так, как вам кажется.

— Тем более. Значит, точно после обеда.

И физик, к моему удивлению, не стал спорить. Он только кивнул и убрал время обратно, куда прятал, — как прячут гостинец, чтобы отдать в подходящую минуту.

Глава третья

Поезд стал тормозить — не резко, а как тормозит большой усталый зверь, долго, с отяжкой, всем телом чувствуя, что можно наконец постоять. За окном поплыл, замедляясь, низкий вокзальчик неопределённого цвета, водокачка, забор, ещё забор, и — стоп.

— Стоянка двадцать минут, — сказала проводница в коридоре, ни к кому, как объявляют погоду.

Я эту станцию любил. У меня их много, таких, — маленьких, ничем не знаменитых, где поезд стоит двадцать минут неизвестно зачем, и за эти двадцать минут на перроне вскипает целая жизнь, а потом гаснет, будто её и не было.

Вот она и вскипала. Вдоль вагонов уже стояли бабки — с вёдрами, с тазами, накрытыми полотенцами, чтоб не стыло: варёная картошка в укропе, солёные огурцы, малосольные помидоры, вяленая рыба, растопыренная веером, пирожки под пелёнкой, и у каждой второй — пиво, тёплое, разумеется, но кого это в дороге останавливало. «Картошечка, картошечка горячая», — пел кто-то без особой надежды. Из вагонов посыпался народ — размяться, глотнуть воздуха, покурить у колеса, и над перроном сразу повис сизый дымок, и голоса, и та особенная вокзальная бодрость людей, которым надо успеть прожить двадцать минут воли, прежде чем снова лезть в свою полку.

Павел Андреевич и Алексей Дмитриевич вышли тоже. Старик спускался по ступенькам осторожно, держась за поручень обеими руками, — ночь на полке даётся не всем, — а спустившись, распрямился, зажмурился на серое небо и стал вдруг похож не на доктора наук, а просто на пожилого человека, которому хорошо, что ноги ещё ходят.

— Дышите, дышите, — сказал Алексей Дмитриевич, закуривая. — Это называется атмосфера. Смесь азота, кислорода и того, что я сейчас в неё выпущу.

— Кислорода там двадцать один процент, — сказал Павел Андреевич машинально.

— Вот за что я вас люблю.

Они прошлись вдоль вагона. Алексей купил у бабки картошку — не потому что хотел, а потому что нельзя приехать на такую станцию и не купить у бабки картошку, это против правил, — и бабка, обрадовавшись, дала ему сверх меры, и назвала сынком, хотя сынку было под пятьдесят, и он был известнее половины страны. Здесь его никто не знал. Здесь он был просто мужик, купивший картошку, и, кажется, ему это нравилось.

А я стоял сразу везде — и в дыму курильщиков, и в вёдрах у бабок, и в тёплом пиве, и в самом асфальте перрона, потрескавшемся, с пробившейся травой, — и мне было хорошо и немного грустно, потому что я уже знал, чего эти люди ещё не знали: что через двадцать минут ничего этого не будет. Поезд тронется, бабки соберут свои тазы, курильщики

бросят окурки, перрон опустеет, и станция снова будет стоять пустая до следующего поезда, как стояла тысячу раз. Всё это кипело только затем, чтобы погаснуть. Как, впрочем, и всё остальное. Но об этом я тогда думал ещё легко, вскользь, не примеряя на себя.

— По вагонам, — крикнула проводница.

И все полезли обратно — торопливо, толкаясь, дожёвывая, и была в этой суете лёгкая паника, вечная поездная паника «а вдруг без меня», хотя без них бы не уехали, поезд большой, он всех подождёт.

Павел Андреевич и Алексей Дмитриевич вернулись в купе последними и не сразу поняли, что оно уже не только их.

На месте Алексея Дмитриевича теперь сидел человек. Большой, обстоятельный, в футболке, из которой выпирали плечи, каких не бывает у людей, работающих сидя. У ног его стояла сумка — не чемодан на колёсиках, а именно сумка, тяжёлая, выдавшая, с которой он, судя по всему, объехал полстраны. Он уже расположился основательно, похозяйски, как располагаются люди, привыкшие обживать любое место за минуту, потому что вся их жизнь — временные места.

Он оглядел вошедших — картошку в руках у одного, докторскую осанку у другого — коротко, оценивающе, без всякого стеснения.

— Ну чё, — сказал он вместо приветствия. — Далёко едем?

Ехать ему было всего ночь. Он так и сказал, устраиваясь: завтра к обеду выхожу, — и в том, как он это сказал, уже слышно было, что там, куда он выходит, его ждут.

Ехал он домой. Не с вахты, а после вахты, что, как он объяснил, разные вещи: с вахты — это когда через месяц обратно, а после вахты — это когда наконец совсем.

— Отпахал своё, — сказал он спокойно, без всякого торжества. — Двадцать восемь лет. Хватит.

У него были взрослые дети, дочь и сын, оба уже со своими, и внучка, про которую он сообщил сразу, как сообщают главное: три года, зовут Настя, ждёт. Он не хвастался. Он просто расставил перед двумя незнакомцами то, из чего состоит, — как расставляют на столе свои припасы, чтобы не есть в одиночку.

Алексей Дмитриевич, который умел разговорить кого угодно и получал от этого удовольствие, разговорил его в четверть часа. Вахтовик рассказывал охотно, обстоятельно, повторяясь, — как рассказывают люди, которым долго не с кем было говорить, а тут вдруг ночь и попутчики. Про то, как холодно в декабре. Как жена сперва плакала, а потом привыкла, и вот это, что привыкла, оказалось хуже, чем когда плакала. Про то, что деньги хорошие, но если посчитать по-честному, сколько дома не был, то и не деньги вовсе.

Павел Андреевич слушал молча и, я видел, слушал внимательно. Он не был белой костью, этот старик; у него тоже была жена, которой он всю жизнь чего-то недодал, потому

что был занят важным, и сын, с которым не о чем говорить по телефону. Он вахтовика не судил. Он его, кажется, узнавал.

А потом вахтовик спросил, чем занимается Алексей Дмитриевич, и тот ответил, и назвал. И вахтовик вдруг оживился и хлопнул себя по колену.

— Так это вы?! Слушай ты. Мы ж всей семьёй смотрели. Я, жена, дочка приезжала — все садились. Жене больно нравилось.

Алексей Дмитриевич улыбнулся той короткой, отработанной улыбкой, какой улыбаются, когда узнают: скромно и слегка утомлённо.

— Приятно слышать.

— Хорошее кино, — подтвердил вахтовик убеждённо. — Сделано хорошо. Играют душевно.

Он помолчал, подбирая слова, и в этом молчании я вдруг почувствовал, что сейчас он скажет что-то, чего в купе никто не ждёт, — и меньше всех тот, к кому это относится.

— Только не про жизнь, — сказал вахтовик просто. — Уж вы не обижайтесь.

— Вот как, — сказал Алексей Дмитриевич.

— Ну а как. У вас там мужик на север уехал, семью оставил. И страдает. И письма ей пишет, и она письма, и он на них глядит и плачет. Красиво. — Он поскрёб щёку. — Только там никто не страдает, мил человек. Там работают. И писем никто не пишет. Позвонит в воскресенье, если связь, поговорит пять минут: у младшей зуб выпал, кран потёк, день-

ги пришли. И всё. И положил трубку.

— Так это и есть страдание, — сказал Алексей Дмитриевич. — Просто в другой форме.

— Может, и так, — легко согласился вахтовик. Он не спорил. Ему в голову не приходило, что он спорит. — Только оно другое. Оно ж не красивое. Вот у меня, знаете, что было? Стою я как-то, курю, и вдруг понимаю, что забыл, какой у неё голос по утрам. Днём помню, а по утрам — не помню. Вот так вот стоишь и не помнишь. — Он развёл руками, обыденно. — Ни музыки тебе, ни писем. Просто забыл, и всё, и покурил, и пошёл работать.

В купе стало очень тихо. Только внизу, подо мной, стучало железо.

— Хорошее кино, — повторил вахтовик, чтобы не обидеть. — Смотрели всей семьёй. Просто вы там жизни-то не знаете. Кальку с кальки сняли. Ну а кто её знает, если не жил.

И он полез в сумку за колбасой, совершенно довольный разговором, потому что для него никакого разговора и не было — так, поговорили про телевизор.

Алексей Дмитриевич сидел неподвижно. И я, который весь день ходил вокруг него и не мог понять, где у него настоящее, а где отработанный ход, — я в эту минуту увидел, что настоящее у него вот здесь и есть, и что ему сейчас нечем прикрыться. Он ведь мог бы сказать, что кино не документ. Что оно и не обязано повторять жизнь. Что зрителю нужно не то, что было, а то, что он способен почувствовать. Всё это

была бы чистая правда, и он знал это лучше всех в этом вагоне.

Но человек, который двадцать восемь лет курил на морозе и однажды забыл голос своей жены, сказал ему не «ты совра́л». Он сказал «ты не знаешь». А этого Алексей Дмитриевич про себя иногда думал сам, ночами, и никому не говорил.

Я перевёл взгляд на физика.

Павел Андреевич улыбался. Не злорадно — я тогда уже немного научился различать. Он вчера сам сидел на этом самом месте и слушал, как у него спрашивают, какая с него, учёного, польза, и не находил, что ответить, потому что ответ не помещался в тот вопрос. И вот теперь спросили другого. И тому тоже нечем.

Он не стал заступаться. Не из мести — вступиться значило бы объяснять вахтовику, что перед ним большой мастер, а хуже этого сейчас не придумаешь. Он просто сидел, смотрел на своего мучителя, который вдруг оказался таким же беззащитным, как он сам, и улыбался — той спокойной, почти нежной улыбкой, какой улыбаются, когда кто-то наконец садится рядом с тобой в лужу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.